

Содержание



Елена Костюкович. На всю глубину

7

Жена



11

Дочь



135

Ученик



227

Сын



313

Дети



423



Эпилог

485

Календарь Якоба Ивановича Баха

487

Комментарии

489

Благодарности

495



На всю глубину



“Все эти подробности — откуда?! У меня же от них чуть живот не свело. Я же все это — как своими глазами увидел, собачий ты сын! Шекспир ты нечесаный! Шиллер кудлатый! Что там такое творится — в этой твоей косматой немой башке, а? Что за черти в тебе сидят? — Подскачив к Баху, Гофман по привычке придвинул свое прекрасное лицо вплотную, задергал ноздрями, затрепетал ресницами”.

Вот уже второй раз мы кричим это Гузель Яхиной, по привычке придвигая к ее строкам наши прекрасные лица. Оторваться не можем. Дальше читаем — больше изумляемся. В первом романе, стремительно прославившемся и через год после дебюта жившем уже в тридцати переводах и на верху мировых литературных премий, Яхина швырнула нас в Сибирь и при этом показала татарщину в себе, и в России, и, можно сказать, во всех нас. А теперь она погружает читателя в холодную волжскую воду, в волглый мох и торф, в зыбь и слизь, в Этель-Булгу-Су, и ее “мысль народная”, как Волга, глубока, и она прошупывает неметчину в себе, и в России, и, можно сказать, во всех нас.

В сюжете вообще-то на первом плане любовь, смерть, роды, вскармливание, и история, и политика, и война, и творчество. Линии жизней героев — волжских немцев, сплетаясь с жизнью истребляющего их тирана, убийцы нерожденных телят и недоделанных тракторят, — переплетаются, радуют, страшат. Эти сплетения полны оригинальной фантазии. Подробности хочется разгадывать.

Это, как у Маркеса, цикличная история? Магическая? Почему сбываются Баховы сказки? Сталин с его “братья и сестры” — это по-

вторение немки-императрицы Екатерины, обращавшейся к привезенным ею же немецким колонистам: “Дети мои”? Оттуда, видимо, и название романа?

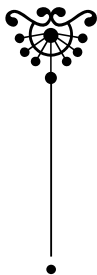
Императрица высится в одном из эпизодов медной статуей, почти медным всадником, и ее, несбывшееся звонкое обещание “иного развития” российской истории, волокут и сдают на вес, суют в печь, переплавляют на детали для танков-тракторов. Разросшийся тем временем до гигантских размеров тиран тяжело топает по городу, зыря в окна вторых этажей. Перелитую на золотистые втулки медную бабушку, покатав на ладони, он выбрасывает в ту же волжскую глубь.

Второй роман оказался выдержанной проверкой. Еще ярче, увлекательнее и честнее первого. Обычно случается наоборот. Яхина снова удивила нас.

Елена Костюкович



*Моему дедушке,
деревенскому учителю
немецкого*





Жена



1



В ОЛГА РАЗДЕЛЯЛА МИР НАДВОЕ. Левый берег был низкий и желтый, стелился плоско, переходил в степь, из-за которой каждое утро вставало солнце. Земля здесь была горька на вкус и изрыта сусликами, травы — густы и высоки, а деревья — приземисты и редки. Убегали за горизонт поля и бахчи, пестрые, как башкирское одеяло. Вдоль кромки воды лепились деревни. Из степи веяло горячим и пряным — туркменской пустыней и соленым Каспием.

Какова была земля другого берега, не знал никто. Правая сторона громоздилась над рекой могучими горами и падала в воду отвесно, как срезанная ножом. По срезу, меж камней, струился песок, но горы не оседали, а с каждым годом становились круче и крепче: летом — иссиня-зеленые от покрывающего их леса, зимой — белые. За эти горы садилось солнце. Где-то там, за горами, лежали еще леса, прохладные остролистые и дремучие хвойные, и большие русские города с белокаменными кремлями, и болота, и прозрачно-голубые озера ледяной воды. С правого берега вечно тянуло холодом — из-за гор дышало далекое Северное море. Кое-кто называл его по старой памяти Великим Немецким.



Шульмейстер Яacob Иванович Бах ощущал этот незримый раздел ровно посередине волжской глади, где волна отливала сталью и черным серебром. Однако те немногие, с кем он делился своими чудными мыслями, приходили в недоумение, потому как склонны были видеть родной Гнаденталь* скорее центром их маленькой, окруженной заволжскими степями вселенной, чем пограничным пунктом. Бах предпочитал не спорить: всякое выражение несогласия причиняло ему душевную боль. Он страдал, даже отчитывая нерадивого ученика на уроке. Может, потому учителем его считали посредственным: голос Бах имел тихий, телосложение чахлое, а внешность — столь непримечательную, что и сказать о ней было решительно нечего. Как, впрочем, и обо всей его жизни в целом.

Каждое утро, еще при свете звезд, Бах просыпался и, лежа под стеганой периной утиного пуха, слушал мир. Тихие нестройные звуки текущей где-то вокруг него и поверх него чужой жизни успокаивали. Гуляли по крышам ветры — зимой тяжелые, густо замешанные со снегом и ледяной крупой, весной упругие, дышащие влагой и небесным электричеством, летом вялые, сухие, вперемешку с пылью и легким ковыльным семенем. Лаяли собаки, приветствуя вышедших на крыльцо хозяев. Басовито ревел скот на пути к водопою (прилежный колонист никогда не даст волю или верблюду вчерашней воды из ведра или талого снега, а непременно ответит напиться к Волге — первым делом, до того, как сесть завтракать и начинать прочие хлопоты). Распевались и заводили во дворах протяжные песни женщины — то ли для украшения холодного утра, то ли просто чтобы не заснуть. Мир дышал, трещал, свистел, мычал, стучал копытами, звенел и пел на разные голоса.

* *Gnadental* — в переводе с немецкого: благодатная долина.

Звуки же собственной жизни были столь скудны и незначительны, что Бах разучился их слышать. Дребезжало под порывами ветра единственное в комнате окно (еще в прошлом году следовало пригнать стекло получше к раме да законопатить шов верблюжьей шерстью). Потрескивал давно не чищенный дымоход. Изредка посвистывала откуда-то из-за печи седая мышь (хотя возможно, просто гулял меж половиц сквозняк, а мышь давно издохла и пошла на корм червям). Вот, пожалуй, и все. Слушать *большую* жизнь было много интересней. Иногда, заслушавшись, Бах даже забывал, что он и сам — часть этого мира; что и он мог бы, выйдя на крыльцо, присоединиться к многоголосью: спеть что-нибудь громкое, задорное, к примеру колониистскую “*Ach Wolge, Wolge!..*”, или хлопнуть входной дверью, да, на худой конец, просто чихнуть. Но Бах предпочитал слушать.

В шесть утра, одетый и причесанный, он уже стоял у пришкольной колокольни с карманными часами в руках. Дождавшись, когда обе стрелки сольются в единую линию — часовая на шести, минутная на двенадцати, — он со всей силы дергал за веревку: гулко ударял бронзовый колокол. За долгие годы Бах достиг в этом упражнении такого мастерства, что звон раздавался ровно в тот момент, когда минутная стрелка касалась циферблатного зенита. Мгновение спустя — Бах знал это — каждый обитатель колонии поворачивался на звук, снимал картуз или шапку и шептал короткую молитву. В Гнадентале наступал новый день.

В обязанности шульмейстера входило бить в колокол трижды: в шесть, в полдень и в девять вечера. Гудение колокола Бах считал своим единственным достойным вкладом в звучащую вокруг симфонию жизни.

Дождавшись, пока последняя мельчайшая вибрация стечет с колокольного бока, Бах бежал обратно в шульгауз. Школьный дом был отстроен из добротного северного бру-